

**Станислав МИНАКОВ,**  
поэт, журналист,  
лауреат литературных премий  
(г. Харьков)

### **«ЛИШЬ ТО, ЧТО ЗА ДУШОЙ...»**

**Т**рудность моего положения, как пишущего «о», заключается в том, что я с удивлением замечаю свое возрастающее творческое родство с Сергеем Шелковым. Но, возможно, в этом же — моё преимущество. Не исключено, что процесс этот обоюден, и потому мне довелось быть редактором двух последних книг С. Шелкового — «Вечеря» и «На кордоне» (Харьков: Крок, 1999 и 2001 гг.).

В чём же истоки общности? В родственности поэтических, духовных привязанностей? В черпании из одних истоков? В совпадении направлений взглядывания, векторов? Воспользовавшись употреблённым математическим термином, сразу хочу подчеркнуть, что мне импонирует рациональная составляющая творчества С. Шелкового, которая, не упраздняя его иррациональной и чувственной сторон, дополняет, организует его мышление, его тексты. Опять-таки, быть может, всё дело в том, что я и сам — технарь по образованию, а рыбак рыбака, как известно... В любом случае, здесь мы имеем дело с собранной и устремлённой личностью.

Если судить о творчестве писателя, причём, представлять его читателю, то лучшим побудительным мотивом всё-таки следует считать приязнь (если не произносить «близость»). Не убоимся нынешнего циничного времени, везде и всюду снижающего пафос или, скорее, вздымающего свой, антипафос — прокламацию «низа». Пойдём своей дорогой, — благо, она обозначена.

Многое из того, что произнесу о Шелковом, я мог бы отнести и к творчеству своих друзей — по цеху и в жизни — читаемых и почитаемых мной поэтов-харьковцев — Ирины Евсы, Андрея Дмитриева, Виктории Добрыниной. Скорее всего, это и есть родство времени и места, родство «по рождению».

Если говорить о поэтической школе Сергея Шелкового, то очевидно, что поэт приходил в мастерскую в большей мере

к двоим: Осипу Мандельштаму и Борису Чичибабину. От первого он потрясённо усвоил способность соединять в речи несоединимое, вживаться, вгрызаться в плоть слова и созидать сложную образность, осуществлять «крутой словесный замес», а от второго — с которым Шелкового связывала и земная дружба — принял высокую нравственную, сострадательную, христианскую ноту, с аввакумовым, страстно указующим перстом. Эти два начала, как сказал бы литературовед, «имплицированы» в стихах нашего автора. Безусловно, лишь внутренняя, генетическая заданность в нём этих начал и могла вызвать живительные резонансы с двумя названными творческими образцами. Примечательно, что именно об этих двух поэтах (и только о них) Шелковый написал эссе, опубликованные в книге «Вечеря». В этих текстах он не перестает быть поэтом, даже поверяя гармонию алгеброй; эссе имеют особую упругость слова, никак не литературоведческую. Так пишут поэты о поэтах: изнутри предмета, изнутри словесной ткани, причастно и ярко.

Мне как-то доводилось, в связи с Арсением Тарковским, написать: «достойно есть бытие в каноне, сжатие себя в пружину традиции...» В случае с поэзией Шелкового могу эту формулу повторить многократно. Ибо здесь, несомненно, присутствует и мужество отказа от вольных и псевдовольных форм. Поэт не позволяет себе «снизиться» до верлибра, подчеркнуто пользуется только «железными размерами» — в противовес расхлябанности стилистической, сиречь душевной и духовной — охватившей сейчас многих — на манер «просвещенной Европы и свободной Америки», где «носят нынче» только «вольное».

Постижение ремесла давно закончилось, и полновесные строфы ложатся из-под руки мастера — словно тёсанные резные блоки в стену храма. Быть может, безымянно. Но да утешат и утишат нас древние китайцы: «Когда мастерство рисовальщиков достигает совершенства — их рисунки неотличимы друг от друга». Думаю, всё же, что читатель, знающий и любящий стихи С. Шелкового, всегда различает сквозь строгость и чёткость поэтического рисунка авторское «лица не общее выражень».

Шелковый пишет много и неустанно. Его книги выходят часто — то через год, то через два, получают премии. Такие объёмы могут показаться пугающими, однако, у каждого — своё дыхание. И удивительно, что, при таких количествах, большинство текстов Шелкового — либо безупречны, либо близки к этому. Быть может, избыточностью он подсознательно хочет засеять мир, как бы

компенсируя малость нынешних поэтических тиражей? Может, ему помогает писать скорость перемещения в пространстве?

Сергей Шелковый немало ездит, многие тексты его стихи «всадника», мчащегося по равнинам и горам — на просторах Украины, России, «Дикого Поля», Восточной и Западной Европы, и Крыма, наконец, конечно же, чудо- Крыма, этого великого подарка, «праздника, который всегда с тобой», без которого русский поэт немислим.

Устойчивые образы у Шелкового — «ветер» и «лоб, чело».

*Всё ветра ишу, и просты мои ловчие снасти.  
О, братец мой, ветер!  
Возьми эту дудку, взыграй!*

Или: Ответь, осенний ветер, брат-зоил!

Стоически (и не эпикурейски ли вместе с тем?) рассекаемы его челом пространства-времени:

*Я по-детски лечу неприкаянность сменой пространства,  
Ведь и в Риме колонном, и на перегонах Руси  
Только путь и спасёт от скуденья. Отвадит от пьянства  
Млеко на небеси.*

В другом стихотворении:

*Оттого и врастали в перо неумелые пальцы,  
Оттого прорезался во лбу неулыбчивый глаз,  
Что мы все, как один, на минуту по свету скитальцы,  
А ещё через миг будет некому вспомнить о нас.*

А вот — прямое столкновение:

*С чёрным ветром Азраила  
Не один ли на один  
Белый выгиб лобной силы,  
Ледяной аквамарин?*

Здесь уже появляется главное противостояние, включённый в которое, поэт всегда остаётся верен своему нравственному выбору.

Движение поэтических образов у Шелкового — и поступательно, и циклично. Круг его тем очерчен и выверен. Он пишет о том, к чему подключён кровеносной системой. При этом никогда не впадает в псевдопафос, в надрыв, даже когда говорит о «большом» — Украине, России (объединительно — Руси), вглядываясь из далей Амстердама, Валенсии, Дрездена или из окна своего дома, или с Кучук-Енишара, на вершине которого, над Коктебелем, похоронен М. Волошин. Всегда выдержана доверительная, естественная интонация. «...Лишь здесь для меня возделаны райские кущи!» — обращается автор к «родному по взору младенцу», к своему «льноволосому наследнику».

Поэт — ироничен, порой — саркастичен, в живой переключке подхватывает знакомую интонацию, справедливо полагая вслед за Мольером — «беру своё, где б я его ни брал»:

*Всё трудней приезжать мне к когда-то желанному морю.  
Одиноко вдвоём, одиноко на людной гулянке.  
Длится время во мне и снаружи. Подобному горю  
Не помогут дельфин говорящий и Ельцин на танке.*

А какой замечательный выдох в этих строках из «Писем с крымского балкона»:

*И для взора просторного, и для широкого вдоха —  
Хорошо! Яко Кормчий сказал — хорошо, а не плохо!*

Хорошо ведь! И то, что видит (Божье), и то, что произносит (человечье). И совсем не вызывает протеста целомудренное, братское возвышение тона:

*Ивану Гуттенбергу, герру,  
Спою на Пасху «аллилуйю»,  
За человеческую веру,  
Как в церкви, руку поцелую.*

Кстати, о вере. Не воцерковленный человек, Сергей Шелковый, тем не менее, — религиозный поэт. Есть у него и стихи о Будде, есть мощный ветхозаветный отсыл, видимо, тоже идущий от Мандельштама (разумеется, не только от него), свое, славянско-розовское переваривание темы плоти, семени. Одно стихотворение, пронизанное земным эросом, так и называется «Ветхозаветное»,

в финале его лирический герой (а я бы назвал его библейским) восклицает: «Но, небо! Плоть мою не мимо, не на бездушный камень сей!»

Эта ветвь в стихах Шелкового ощутима и устойчива, по-земному принимаема и близка читателю., однако есть у автора и нечто **окончательное**, следующее *затем*. Я бы назвал эту ветку — нозаветной.

*И в том, что мой алтарь — опять вне храма,  
Гордыни нету, Господи, о нет!  
Под строгим небом я молюсь упрямо,  
Где явней голос Твой и неподкупней свет.*

Мне очень близко в Шелковом то, что он «настоящий»! Что всё в нем (кто ведает, какой работы духа это стоит?) — основательно, верно, как и должно быть. Так несуетно-неуступчиво, утекая от гордыни, должен жить и восходить человек: в любовь к женщине, детям-внукам, родителям, прародителям, земле, стеблям, мурам, свету.

Не только людей, но и букашек, растения, поэт называет по именам. По-доброму, целомудренно. При этом — зряч, плотски-телесен, он вбирает-впитывает мир и гортанью, и зрачками, и кожей, и, конечно же, слухом. Потому что впереди всего для поэта — звук, ритм, интонация.

*Платину плавит понтийское лето,  
Цезий в изложницы Цезарей льёт.  
Царственна в полдень зенита монета —  
Аверс ликует, звенит оборот.*

*А базилевс сухотравья, кузничик,  
Чалый скаун, цымбаларь да скрипаль,  
Снова седлает бессмертника венчик  
И озорует, соломенный враль.*

А уж если речь зашла о свете, то я бы сказал уместное — о «свете Евангельском». «Мне скучно, бес...» — написал в минуту слабости наш Председатель. Нет, мне не скучно под сенью сводов, возведённых поэтом Сергеем Шелковым. Мне здесь тепло и светло, к чему всегда и стремишься. Мне здесь всегда родственно, даже если речь у него заходит о наболевшем, иногда мучительном.

И если говорить о выборе, то я остаюсь здесь, с этим. Где автор в образе Иверской Божией Матери видит «скорбно-земные глаза» великого Андрея Платонова.

*Тихо. Лишь вечный ребёнок —  
Краткого гения бронь...  
Слой откровенья так тонок!  
Бродят, — поодаль иконок, —  
Рыжий, с репьями, телёнок,  
Серый, в антоновках, конь.*

Я не уверен, что мне нравится название последней книги Шелкового — «На кордоне». Но речь в ней идет именно о порубежье, пограничье — пространств, культур, тысячелетий. Прочитав книгу литературоведа Игоря Лосиевского, которому С. Шелковый посвятил одно из лучших своих стихотворений, «Между Арсением и Анной...

«...Рубежная земля — южнорусская, украинская степь, «Дикое Поле». Рубежное время — канула еще одна эпоха...» Поэт остается «в плену у этого пространства-времени, всегда ускользавшего от властителей — «собирателей множеств», всегда оказывавшегося рубежом. Удивителен этот плен: близость рубежа обостряет творческое чувство; с него, рубежа, лучше видно. Поэт — всегда граничное явление, он живёт, сотворяя стиховое пространство на стыках эпох и объективно данных пространств, и потому геоисторическое порубежье, такое, как Левобережная Украина, уже самой судьбой своей предназначено для поэта — стать домом на семи ветрах».

И — держись, коли тебя уносит «зима проклятушая», когда «самое время загнуться»:

*Напиши мне, тверёзый товарищ, на пьяную льдину,  
Унесённую чёрной неблагонадежной водою.  
Из дюралевой фляги глотнуть за тебя не премину,  
Загрызну ледовитой, ломающей зубы, рудой.*

А кордон, к тому же, предстает и возрастным рубежом, временем переосмысления, «собрания камней», более пристального взглядывания в гамму бытия, в цвета мира — в «золотой мой, лиловый и синий...», временем спокойной не просьбы даже, а сообщения ближним-дальним: «Я бы хотел к изголовью польнь...»

Любит, верит и выживает. Вопреки всему.

*В тетради на столе — вечерних слов немного.  
А новый день в окне — воздушный и большой.  
Уже случилось так. Так будет, слава Богу:  
Не надо ничего. Лишь то, что за душой...*

В сущности, нужно совсем немного. Слава Богу, что это —  
есть!

1999 г.